

— Слава Богу! — задорно сверкая красивыми черными глазами, отвечала вдова. — Проходите, Осип Митрофанович, садитесь, гостем будете, а водки купите — хозяином будете!

— Да оно, всеконечно, такое дело без полбутылки никак невозможно разобрать, — согласился Каргин, запуская руку в карман широких синих шаровар с алым лампасом.

— Вот!.. Бутылку возьми! — сказал он, подавая Наташке деньги и сядя за стол в переднем углу под старинными, потемневшими от времени, иконами.

Через несколько минут Наташка наливала в пузатые граненые рюмки водку, с усмешкой поглядывая на задумчивого Осипа Митрофановича.

— Ната! Садитесь за компанию. Если о деле говорить...

— Да што-ж тут говорить то?.. Ты виноват, ты и платить будешь, — ехидно бросила Наташка, взяв у печки с сковородкой, на которой шипела яичница.

— Но... позвольте, Ната! Как же это так? — нерешительно заметил Каргин.

— Што „как“? — резко повернулась к нему Месалина. — Ежели не хочешь платить, так и скажи!.. Я уж управу на тебя найду!.. Вся станица узнает.

Каргин тяжело вздохнул и упавшим голосом спросил:

— Сколько хочешь?

Наташка, сдерживая улыбку, торжествующе посмотрела на несчастного Дон-Жуана и коротко ответила:

— Четвертную!

Каргин попробовал было возразить, но потом махнул рукой и, вынув деньги, подал ей ассигнацию.

— Ну, а теперь можно и погулять, — засмеялась Большакова, пряча деньги за пазуху и протягивая руку к рюмке. Но в это время зазвенели разбитые стекла, и в комнату влетел кусок кирпича.

Каргин побледнел, как полотно, и, схватив фуражку, бросился на двор.

Убегая через базы и оглядываясь, он слышал визгливый крик своей супруги и крепкую сочную брань Наташки. Каргин вздохнул свободнее и перепрыгнул через плетень на улицу.

О. Олесь.

* * *

Не складайте крил журливо,
Не хилить сумних голів:
Хтось могучий полохливо
В темнім лісі затремтів.

Швидко сонце схід запалить,
Позлотить сумні лани.
Швидко Воля камінь звалить,
Встане знову із труни.

І не з помстою, не з гнівом
Піде Воля по ланах,
А з небесно-ніжним співом
І з бальзамом у руках.

І над кожним, хто у полі
Впав поранений в бою,
Вона сумно мимоволі
Схилить голову свою.

Не складайте крил журливо:
Хтось могучий затремтів,
Хтось тікає полохливо
В чорну темряву лісів.

Бѣлѣшкѣ.

К и ш и к т ъ.

(Окончание)*

Баджа окончил пить чай и, молитвенно сложив руки, сказал:

— Аршан болок, ця борцок эльэк болок — пусть будет в изобилии чай и борцок¹⁾, а мне же да послужит все это священной пищей!

Ерэл пингирэк — да исполнится доброе пожелание, — сказала почтительно Абуна.

Медленно поднялся, сполоснул рот водой, снял четки с шеи и, перебирая, пошел прочь, шепча: „ом мани бадма хом“²⁾.

*) См. № 8 журнала.

¹⁾ Жареное в масле тесто различной формы.

²⁾ О, пусть благоденствует все сущее на земле.

Відпочину, відпочину
Там в садах, в лісах таємних,
На шовкових крилах тиші
У глибинах забуття.

Ляжу я в зеленій казці,
Вкриюсь ніжним листям мрії,
Покладу надії руку
І на теплій їй засну.

Вітер всі жалі розвіє,
Оджене колючі болі,
Рани подихом остудить,
Звіє слізови з вій моїх.

Так, спочину... а теперь я
Знов іду з хрестом на гору...
Хай плюють мені в обличчя,
Б'ють бичами... хай плюють...

* * *

На небі родилась зоря чарівна —
Як папороть в лісі розквітла...
Вже тисячі років, як згасла вона.
А люде не бачуть ще світла...

Не плач, мов серце...

— „Зээнэр“ должны проводить время у родня, как им захочется, — ласково говорила девушкам Абуна, глядя их косы.

„Зээнэр“ — значит — дети выданных замуж родственниц по роду.

„Нагцанар“ — родственники матери по роду. Таковыми приходились они девушкам.

С чем сравнить ласку, бесхитростную и бескорыстную любовь милых „нагцанар“? Есть ли что-либо теплее этой любви?

Они пошли в зулан с маленьким окошком, потом в первую половину флигеля с одним окошком и одной постелью, затем в другую половину с тремя окошками, деревянным полом. Здесь были две постели, стол, два стула, над одной постелью „кешик“ — полог, на столе „кюрдэ“, Бурханы. У другой стены между двух окон — зеркало, на котором развешено полотенце с раскрашенными петухами по концам. На полу перед постелью „ширдик“. Девушки бесцеремонно развалились на постелях и играли с Ермаком. Абуна была добольна, она пела ему:

Цугар бьяна, цуктан бьяна...

Он танцевал. Беззаботно, радостно было. Вдруг тихо вошла Кишиктэ с трубкой в зубах.

— А я пришла так сюда, хотя „наш человек“ и сердился. Видите, посмотрите, что он со мной сделал?

Она подняла рукава „кюлтэ“. Руки были в синяках. Странно, ее не видели плачущей. Наоборот, лицо ее улыбалось, как будто ей было приятно, что она избитая, бессильная.

Абуна принесла уже остывшие пышки и чай и сочувственно говорила:

— Зачем вы ему отвечаете, зачем не выйдете молча от него, пока его раздражение не пройдет?

— Нет сил терпеть, Абуна.

— Верно, „бава“ выпила и из-за этого началось, — сказала Бадьма.

— Пусть черви будут есть мой язык в нос, если я была пьяна... Ну, и пусть бьет...

Кишиктэ выпила чай, вернула „демя“ со словами „аршан болок, ця борчок элвэк болок“. Затем молитвенно сложила руки, сполоснула рот и сказала:

— Дочь всегда защищает его, а я ведь нискогда. Это правда, да и он тоже пьет!

Бадьма нахмурилась и вообще хорошее настроение девушек пропало.

О, „хальмак бавга“, бессильная и избитая, кто тебя защитит, кто тебя утешит? Ни родовые муки, ни бессонные ночи с больными детьми, ни душевные страхи и горе за них не дали тебе права быть человеком. Горе тебе, Кишиктэ, нет тебе утешения. Лучше бы ты плакала, чем улыбалась своей жалкой улыбкой. Или мало ты страдала, сидя над умирающим сыном-первенцом, или мало тебе принесла горя Бадьма, эта тень, ожидающая смерти?..

Несколько времени сидели молча. Вошла одна „барэ“ — молодая, тоже родственница.

Ваши уехали за арбузами? — спросила она, поздоровавшись.

— Да, говорят, зрелых очень много. И урожай очень хороший. Мы посеяли целую десятину... Чем бы мне некую гостью угостить? Чай уж холодный. Угощу арбузами...

Абуна полезла под кровать и оттуда выкатила несколько арбузов и дынь. Выбрала самый большой, вытерла его и положила на „джогза“¹⁾, принесла нож в сняла „камак“ — крышечку, положила его перед „кюрдэ“²⁾ „деджи“, а потом разрезала на куски. Хотя все были более чем сыты, но вид темно-красного, сочного арбуза с мелкими семечками настолько соблазнителен, что тоже принялись за него.

— Я пришла позвать к себе дедочек чай пить, — сказала „барэ“.

— Сян, сян — это хорошо, — сказала Кишиктэ. Рождественников не надо забывать. Пусть они знают, кто им родня. Идите девочки к ним, они вам тоже родня.

После арбуза девушки пошли с „барэ“ к ним. Еще не закоптевшая белая войлочная кибитка была дверью обращена на юг и потавлена посреди улицы. В кибитке — обычные постели направо и налево, против двери в глубине — „баран“, сооружение из сундуков, завешенное ковром, со всем приданым молодайки. В кибитке никого не было.

Хозяйка угостила гостей своих конфетами, халвой и русским чаем. Затем подарила по большому шелковому платку. Они были девушкам „нагцанар“, правда, отдаленные. Пришел ее муж, затем старуха, и все они были ласковы, женщины гладили девушкам косы. Они пробыли у них почти целый день. Вернулись затем к Карпу, и Абуна не хотела их пускать, просила ночевать у них. К вечеру вернулись с бахчи с арбузами, дынями, подсолнухами, огурцами, тыквами.

Нохашка осталась ночевать, а Бадьму проводили домой.

* * *

Раз вечером Нохашка зашла в дымную калмыцкую кухню Санчира. Кишиктэ сидела у очага и подкладывала под котел с молоком кизеки и покуривала свою трубку. Видно, она думала свою думушку, может быть перед ее приходом и плакала, но ее плачущей никто никогда почти не видел.

— Почему не пойдете на надан¹⁾, дедочки? Почему не потанцуете?

— У Бадьмы нет охоты.

Помолчала, затянула трубку так, что послышалось шипение и клокотание.

— Вам бы монашками быть — кюкан гэлинг болхони окхон бяджи та! А скажи ты мне — вот она, Бадьма, лечится у русских, а вылечится или нет?

— Почем знать, вот же держится, может и вылечится.

— Нет, как пришла эта болезнь от „оросов“, так уж не вылечишь. Недаром наша мать говорила „орос гемь оксен хени цани арга уга“ — не вылечишься от болезни, привитой русскими. Орос — Шар Мангус. Орос норовит взять лучшее у „хальмак“, а его погубить. Мать наша рассказывает и поныне, какие случаи бывали с лучшими хальмаками: или соблазнят креститься, а если не дастся, то нидут еще чем погубить...

— Ну, да это, тетка, сказки! Это, может быть, было давно — раз, два, а потом про всех говорят. Среди оросов есть люди еще добрее наших...

— Нет, не вылечится моя Бадьма...

Сказала, затянула свою вонючую трубку. Нохашка молчала.

Была тогда жива мать Кишиктэ. Коренастая, полная, маленького роста старуха с серьезным и добрым выражением некрасивого лица. Она всегда носила темно-красный халат — „кюльтэ“, всегда почти перебирала четки, шепча скороговоркой „ом мани бадма хом, ом мани бадма хом“. На ногах ее хальмак — сапоги из красного сафьяна со странными каблуками и широкими круглыми носками. Через плечо красный „оркомджи“ — лента в знак ее религиозного достоинства. На шее „бу“ с лепным изображением сидящего Будды.

В высшей степени религиозная, до фанатизма преданная обрядам, добрейшее и прямодушное существо — она была украшением дома и привлекала сердца своей незлобностью. Но когда разговор заходил об „оросах“ — русских, лицо ее становилось строгим и она говорила:

— Аюка Хан зярлик болсомин — аяе Шар Мангус манивгэ казя казядан дархар бяха (Еще Хан Аюка сказал, что Оросы во все времена будут стремиться нас унижить, раздавить).

Когда дети, смеясь, спрашивали ее, в какой это книге сказано, она становилась еще строже и говорила:

¹⁾ Вечеринка.

¹⁾ Калмыцкая женщина.

²⁾ Маленький, низенький столик.

³⁾ Молитвенный цилиндр.

— Оросини абаасу холаагур евцохатан (Бойтесь соблазнов Оросов), они вас могут погубить. Учтите у них, но свой „хальмак сеткел“ не теряйте!).

Подобное настроение передалось и Кишиктэ, которая не имела никакого влияния и власти над своими детьми.

Девушка молча вышла, вспомнив старуху и ее убеждения.

* * *

Как-то утром сидели Нохашка с Бадьмой на балконе и праздно проводили время, рассматривая журнал „Нива“. Через раскрытые окна доносилась возникавшая ссора родителей Бадьмы. Кишиктэ старалась что-то с'язвить, он шипел на нее и строго прикрикивал, как кричат на домашних животных. Бадьма улыбнулась своей безразличной улыбкой с того света и сказала: „Родители беседуют!“

— Но почему же ты не заступишься за мать?

— Она того вряд ли стоит.

— Но ведь твой отец слишком жесток с ней!

— Он только справедлив. Эти пьющие женщины! Фи, как они безобразны. А мой отец — вроде Петра Великого, он вводит свет, хотя и насильно.

— Хорош же будет свет, если он однажды выбьет ей глаза!

Ссора за окном становилась настойчивее. Она говорила совсем тихо. Он сильным голосом кричал все сильнее и сильнее. Нохашке показалось, что доходит до побоев, и она, не выдержав, сорвалась к ним.

Кишиктэ стояла у кровати дочери в ее комнате, в неизменной черной „кюлтэ“ с полоской. Она обратила к вошедшей свое приветливо-улыбающееся лицо с моргачищами, смеющимися глазами и сказала:

— Вот посмотри на своего дядю, как он будет меня бить... Он никогда не узнает счастья своих детей... Небо видит, что он делает и каким он притворяется.

— Змея, змея ядовитая! — закричал он.

— Все скажу, — бейте, убейте меня! Вы — злодей и нечистая сила! У вас в крови есть что-то жестокое, русское... Вы — первый притворщик и убийца. Вы...

Она не договорила. Сосновая дощечка длиной в метр и шириной в два пальца свистнула в воздухе и в мгновение со страшной силой опустилась на спину Кишиктэ. В этот же момент Нохашка вскрикнула не своим голосом. Она успела подставить под удар ладонь правой руки. Ладонь наполнилась кровью, в которой выпал кусок кожи.

В следующий момент Санчир поднял девушку на руки, целовал разбитую руку, божился, что при гневном теряет рассудок и все сваливал на жену. С завязанной рукой вышла она к Бадьме. Та хладнокровно расхаживала и, узнав все, равнодушно сказала:

— Напрасно это!

Немного погодя девушкам подали завтрак на балконе, а после завтрака к крыльцу подкатили тройка лошадей. Санчир ехал на жатву и предложил девушкам покататься. С собой взяли несколько бутылок кумысу. Выехали в степь, где золотился и переливался зрелый хлеб. Жара немного спала, но пыль, поднимаемая тройкой, облокачивала их. Проехав верст десять, они оказались у громадной скирды, где копошилось человек пятьдесят рабочих, убиравших хлеб Санчира. Недалеко от скирды стояла землянка, где жил один из рабочих, видимо, надсмотрщик. Девушки вошли туда.

Два маленьких окошка были обращены на юг, два — на восток. Мухи жужжали и садились на восковое лицо больного мальчика лет десяти, лежавшего на го-

1) Калмыцкие чувства или дух.

стели в углу. Перед образом горела лампада. Матери мальчика видно не было, а отец, сухощавый русак с реденькой бородкой, стоял посреди комнаты, держа уздечки и веревки. Он молча указал на мальчика, вскрикнул и вышел. Нохашке стало не по себе. Она выбежала вон. Бадьма за ней. Тройка их ожидала. Санчир остался с рабочими. Он строго разговаривал с отцом умирающего мальчика. Поехали по степной дороге дальше. Всю дорогу молчали. У Нохашки горло сжималось от слез и она распустилась. Услышав ее всхлипывание, Бадьма сказала:

— Напрасно, надо смотреть на вещи философски, как „баджка“. Смерть ожидает и бедных и богатых.

Нохашка ничего не ответила.

Только-ли ее безнадежная болезнь довела ее до таких мрачных дум и до такой степени безразличия, до которой она себя довела? Или жестокий характер отца сказался в ней?

Дома Кишиктэ говорила своей двоюродной племяннице:

— Твоя Бадьма вся в отца. Я хочу ее поцеловать — она не дается. Она стыдится меня, за человека не считает. И как она, такая умная, родилась от меня... Для чего же мне моя жизнь, если не могу помочь больной дочери? Она меня презирает, но она не знает, как я ее люблю. Я докажу это и спасу ее от смерти...

— Чем это вы можете ее спасти?

— Есть один такой человек! Он все знает... Но тебе зачем это?

Отвильнула, ничего не сказала.

На следующий день узнали, что сын рабочего умер. Санчир на это мало обратил внимания.

— Какой ужасный человек, — думала Нохашка.

* * *

Прошло два года после того лета. Нохашка к ним не заезжала, с Бадьмой изредка переписывалась. Дошел слух, что Кишиктэ хворала, сохла и умерла в чахотке. Любившая свою тетку Нохашка навела справку, как, отчего умерла Кишиктэ, и вот что узнала.

Тот самый знающий „все“ человек посоветовал ей систематически выливать утреннюю мокроту дочери, уверяя, что тогда она умрет, а дочь выздоровеет. Ослепленная невежеством и суеверием она поверила ему и взялась погубить себя тайно, чтобы спасти этим свою дочь.

Все это узнали потом.

Суровый деспот, доведший жену до заоя, увлекаемый мыслью перевернуть весь уклад жизни, маститый, злой, безграмотный самородок не сумел вывести невежество и дикость, а, наоборот, с особой силой воцарил в сознание жены ужасные мысли.

А дочь, эта суровая девушка с волею отца и скрытым сердцем, умирая на 21 году своей жизни, может быть захотела материнской ласки, когда хлынула у нее горлом кровь.

И много печали, удивления и разочарования погребла она в сердце своем с того времени, как однажды, вернувшись и родные края, встала вместо худенькой родной матери со смеющимися глазами — высокую, дорогую, чужую женщину и стала называть ее „эки“ — т. е. мать.

А великая в своей любви, ничтожная в своем невежестве, родная в своих повериях, с необычным морем „сяхан сеткел“, исизгладимым временем, любовью своей искупившая грех невежества — „монгогин килинче“ — милая Кишиктэ, выливая отирательную жидкость, может быть, улыбалась от счастья самопожертвования...